

УДК 821.133.1.091 „18”

Анна Попова

ТЕМА СТАРОСТИ И СМЕРТИ В „ЗАМОГИЛЬНЫХ ЗАПИСКАХ” Ф.-Р. ДЕ ШАТОБРИАНА

Досліджено структурн-семантичні моделі образів старості і смерті в мемуарах Ф.-Р. де Шатобріана. Показано своєрідність оповідної реалізації феномена смерті, цього „індикатора людської автентичності” (А.В. Демічев), в контексті розповіді про епоху і про себе. Глибоко особиста проблема скороминучості індивідуального буття, що її трагічно переживає автор, змальована на тлі широкого історичного полотна й сполучена з загальноромантичним осмисленням специфіки існування людини у часі.

Ключові слова: романтичні мемуари, біографічний час, старість, смерть.

„Новая идея смерти рождает новую культуру”.
О. Шпенглер „Закат Европы”

Обреченность человека смерти – извечная онтологическая проблема. История осмысления феномена смерти в темпоральной структуре бытия насчитывает не одно столетие и поражает крайней вариативностью подходов к проблеме – от стоического отрицания смерти Эпикуром до включения смертности в основу структуры бытия человеческой личности Хайдеггером и даже батаевского „веселого утверждения смерти” [2]. В современной науке интерес к этой проблеме особенно возрос в последние десятилетия. Танатология из раздела медицины, изучающего динамику причины, механизмы и признаки процесса умирания, постепенно превращается во всеобъемлющее, многоаспектное учение о смерти. Особенно актуальны на сегодняшний день исследования проблемы смертности в гуманитарных отраслях знания. Свидетельство тому – деятельность Ассоциации танатологов Санкт-Петербурга, а также альманах „Фигуры Танатоса”, выходящий в рамках авторского проекта А.В. Демичева „Петербургский Танатос” [5].

Анализ феномена смерти в гуманитарных дисциплинах, в том числе и в литературоведении становится, по словам Д.А. Пашкина, „новым инструментом постижения реальности и достижения истины в бесконечности саморефлектирующего путешествия мысли” [4]. При этом литература представляется чрезвычайно важным полем исследования столь „нерепрезентируемого объекта” [1, с. 5], как смерть. В особенности это касается такого малоизученного в отечественном литературоведении жанра, как романтические мемуары, где герой существует в масштабах времени и пространства,

детерминированных биографией, и одновременно в масштабах истории, но и шире – в вечности.

Время, ощущение его непрерывного движения, безвозвратности производимых им перемен – тема, доминирующая в творчестве Шатобриана. Уже в „Рене” и „Атала” тема быстротечности человеческой жизни, изменчивости всего сущего, изображение контраста между прошлым и настоящим занимали важное место. Ощущение необратимости течения времени рождала избранная форма повествования: рассказ в рассказе. Наличие двух рассказчиков – повествователя и вспоминающего о событиях минувших героя (Шактас в „Атала”, Рене в „Рене”) – создает перспективу и возможность, сравнив прошлое и настоящее, констатировать необратимые изменения в окружающем мире. Акцент неизменно делается на разрушительности времени, которая усугубляется недолговечностью человеческой памяти. Спустя недолгий срок на месте знаменательных событий остаются лишь „несколько перьев из крыла пролетной птицы” [11, с. 56] или статуя, указующая перстом на место принесения давно забытой всеми жертвы [11, с. 63]. „Время сделало один только шаг, и лицо Земли неузнаваемо изменилось” [11, с. 63], – фраза, в которой отразился не только личный опыт героя и самого автора, но и опыт целого поколения французов. К переживанию времени как момента личного существования (неизбежно конечного и краткого) примешивается переживание исторической эпохи, ее катаклизмов, обостряющих и без того трагическое восприятие „личного” времени.

В „Замогильных записках” время становится центром, вокруг которого группируются все остальные темы и образы мемуаров. Писатель выделяет время как одну из главных составляющих мемуаров. Оно входит в „Записки” во многом благодаря тому, что автор формально себя из него исключает, ведя рассказ о своей жизни и об эпохе „из-за могильной плиты”. Выбор обратной перспективы „d’outre-tombe” ставит Шатобриана над временем, создает иллюзию независимости от него и дает необходимую полноту обзора, но эта перспектива усиливает также печаль по поводу утекания времени и его безвозвратности, особенно ощутимую на биографическом уровне повествования. В мемуарах подспудно формулируется экзистенциальная по своей сути проблема неотменимости смерти в рамках земной человеческой жизни („Par quel miracle l’homme consent-il à faire ce qu’il fait sur cette terre, lui qui doit mourir?” [9, с. 60] („Каким чудом соглашается человек делать все то, что он делает на земле, – соглашается, зная, что обречен на смерть?” [7, с. 187])).

Биографический пласт состоит из фактов личной жизни автора, его ощущений, переживаний, воспоминаний, и подчиняется хронологии человеческой жизни: детство, молодость, зрелость, старость.

Тема старости и связанных с ней ощущений дряхления и разрушения пронизывает мемуары в тех эпизодах повествования, где

речь идет о настоящем. Старость представлена в „Замогильных записках” как в традиционных образах заката [8, с. 19, 228, 357, 362] и осени [8, с. 57, 228], так и в непосредственных описаниях разрушений, производимых в человеке временем. Изменениям подвергается не только тело („изношенная телесная оболочка” [7, с. 174]), но и душа – стареющий Рене испытывает „отвращение ко всему на свете” [7, с. 343-44]. „Человек – не вино, он не улучшается с годами” [7, с. 528] – так в афористичной форме Шатобриана подводит грустный итог своим размышлениям.

Старость для Шатобриана – это не только утрата физических и эмоциональных преимуществ молодости, но еще и все более остро ощущаемое одиночество. Жизнь Шатобриана сравнивает с восхождением на голую и обледенелую вершину („au sommet chauve couronné de glace” [8, с. 676]) горы. Прилагательное „chauve” („лысый”) сближает описание вершины с образом старика. Будучи соотнесенным с пейзажем, абстрактное понятие старости становится зримым. Старость представляется писателю горной вершиной – безлюдной и безмолвной, увенчанной ледяной короной. Снег, лед, связанное с ними ощущение холода – также атрибуты старости, которая в восприятии Шатобриана ассоциируется с „остыванием” („refroidissement”) [8, с. 174], „обледенением” („glaciation”) [8, с. 280], „холодами” („l’approche de l’hiver”) [8, с. 571].

Продолжая сравнение человеческой жизни с подъемом на горную вершину, писатель, говоря теперь о годах, подобных Альпам („...les années sont comme les Alpes”), подчеркивает, что последние – самые высокие и они „пустынны, бесплодны и убелены сединами” [7, с. 450] („...deshabitée, arides et blanchies” [10, с. 567]). Сквозь присущую мемуарному повествованию географическую конкретику отчетливо проступают очертания мифа о Сизифе, и тогда человеческая жизнь, как путь на вершину горы, представляется сколь трудной, столь и бессмысленной. При этом актуализируется мотив тяжести времени, решаемый как в традиционном ключе („Trop lourd de chagrins et d’années, me porter te serait impossible” [8, с. 280] – „Тебе не под силу нести меня, отягченного годами и горестями” [7, с. 524]), так и при помощи персонификации („Je ne donne plus le bras qu’au temps: il est bien lourd!” [9, с. 286] – „Теперь я подставляю руку одному лишь времени: как это тяжело!” [7, с. 228]).

Другое, не менее частое сравнение, встречающееся в „Замогильных записках”, – сравнение старости с пропастью, бездной („abîme”), из глубины которой автор взирает на утраченную юность: „J’écarte mes vieux jours pour découvrir derrière ces jours des apparitions célestes, pour entendre du bas de l’abîme les harmonies d’une région plus heureuse” [10, с. 657] („Я раздвигаю завесу моих преклонных лет, дабы узреть небесное видение, дабы услышать звучащую из бездны гармонию счастья” [7, с. 365]). Старость („mes vieux jours”) представляется некой вещественной преградой (в русском переводе: „завеса моих преклонных лет”), отделяющей человека от юности с ее

утехами так же, как „время – завеса, скрывающая от нас Господа, как веко скрывает наш зрачок от света” [7, с. 143] („le temps est un voile interposé entre nous et Dieu, comme notre paupière entre notre oeil et la lumière” [8, с. 642]). Такая же нарочитая вещественность присуща сравнениям своего возраста с „куцыми лохмотьями дней” („à peine suis-je recouvert maintenant d’un lambeau de jours écourtés” [8, с. 280]) и „подолом платья, волочащимся по земле” („Irai-je attacher quelques années qui me restent a une fortune nouvelle, comme ces bas de robes que les femmes traînent de cours en cours” [8, с. 280]), в которых подчеркивается как краткость оставшихся дней, так и их ущербность, ненужность. Напротив, юность, ушедшая молодость неизменно представлены в образах чего-то эфемерного, не имеющего пространственно-временных форм: „la trace d’un vaisseau...; les glas d’une cloche” [10, с. 154]. При этом структура образа остается неизменной – визуальный компонент („des apparitions célestes”; „la trace d’un vaisseau”) дополняется звуковым („les harmonies”; „les glas d’une cloche”).

И бездна, и вершина горы одинаково безжизненны и безмолвны, а в сочетании с холодом они рожают аллюзию Коцита – ледяного озера в центре дантовского ада. Исследуя образную систему в творчестве Шатобриана, М. Лехтонен отмечает, что „бездна” („abîme”) – это чаще всего амбивалентный символ рая, ада, вечности и смерти [12, с. 283-284]. В „Замогильных записках” старость – это тоже бездна, а следовательно, старость и смерть – понятия неразрывные в художественной системе мемуаров. В восприятии самого Шатобриана они гораздо ближе, чем мифические Морфей и Танатос: „Les poètes nous disent aussi que le Sommeil est le frère de la Mort: je ne sais; mais très clairement la Vieillesse est sa plus proche parente” [10, с. 437]. Писатель вводит в традиционный для классицизма аллегорический ряд фигуру Старости, добавляя глубоко личные переживания в ставшее привычным поэтическое клише („les poètes nous disent”).

Еще одна важная характеристика старости в художественной картине мира „Замогильных записок” – сиротство и бесплодность. Герой мемуаров оказывается в одиночестве, вырванный из непрерывной длительности своего рода. Лишившийся предков и не имеющий потомков он остро переживает „пору сиротства” – „никому не нужный, ставший обузой для всех” [7, с. 594] („bon a personne, fardeau a tous” [8, с. 280]). Отсутствие детей, вселяющих надежду пусть не на личное бессмертие, но на сохранение рода, усиливает трагизм череды невосполнимых потерь: „...я доживаю свой век в одиночестве, не имея ни братьев, ни сестер, ни детей, ни радостей, ни наслаждений, в окружении одних лишь могил” [7, с. 479] („solitaire, je compte non par frères, soeurs, enfants, joies, plaisirs, mais par tombeaux” [8, с. 280]).

И далее ощущение покинутости, брошенности подчеркивается частыми упоминаниями об утратах, картинами покинутых жилищ. Излюбленный образ – пришедший в запустение родовой замок или

иное дорогое герою место. В „Атала” это заброшенная христианская миссия в лесах Амазонки [6, с. 56], в „Рене” – проданная усадьба отца [6, с. 76]. В мемуарах сцена последнего свидания с замком в Комбурге [8, с. 297] практически повторяет аналогичную в „Рене” [6, с. 76]: пустое крыльцо, закрытые двери и ставни, гулкие шаги в пустых покоях, темные аллеи и стремительный отъезд. Те же эмоции рождает и посещение совместно с мадам Рекамье поместья мадам де Сталь в Коппе: прогулка по пустынным комнатам вызывает у них воспоминания о минувшем [10, с. 384]. И здесь звучит мотив одиночества, трагической разобщенности: „Hélas! ces mondes isolés, chacun de nous les porte en soi...” [10, с. 384]. Трагизм восприятия настоящего усиливается еще и тем, что в „Записках” Шатобриан вспоминает о людях, большинства из которых уже нет в живых: „...de toutes les personnes que j'ai connues combien en existe-t-il aujourd'hui?” [8, с. 169] – говорится в предисловии к мемуарам („...из тех, кого я знал, многие ли живы сегодня?” [7, с. 19]). И далее, в книге одиннадцатой, написанной в Лондоне в 1812 году, автор опять напоминает о нарастающей изоляции, в которой он находится („un isolement progressif”): „Почти все люди, о которых я говорю в моих „Записках”, ушли из жизни, и книга моя – книга записи умерших” [7, с. 163] („Presque toutes les personnes dont j'ai parlé dans les Memoires, ont disparu; c'est un registre obituaire que je tiens” [8, с. 697]). Себя он ощущает обреченным („condamné”) составлять каталог мертвецов („cataloguer les morts”), а свои мемуары называет „храмом смерти” („temple de la mort”) [8, с. 173].

На биографическом уровне повествования „Замогильных записок” мотив обреченности человека в его земном существовании особенно силен. В „событийном роковом времени моей единственной жизни” (М. Бахтин) конечным пунктом всегда будет смерть человека как биологической единицы, и эту экзистенциальную обреченность остро ощущает Шатобриан. Тема смерти широко и разнообразно представлена в мемуарах, а трактовка ее – от мрачной бездны [8, с. 511] или чудовища, вонзающего когти в сердце неверующего [10, с. 578], до определения смерти как милости, дарованной христианину небом [8, с. 600], – показывает диапазон переживаний героя „Замогильных записок”. С одной стороны, столь частое упоминание смерти и ее атрибутов („tombeau”, „cercueil”, „dépouille”, „crânes détruits” etc.) свидетельствует о мироощущении, сформированном эпохой. Французская революция словно открыла гигантский клапан, откуда хлынули потоки крови, залившие Европу: якобинский террор, термидор, наполеоновские войны – своего рода увертюра к тому, что произойдет в XX веке. „Кровавая река” („fleuve de sang”) – именно такую границу проводит Шатобриан между старым и новым миром [8, с. 382], разворачивая затем эту дантовскую метафору Флегетона во втором томе „Записок”, где речь идет о восстании против термидорианского Конвента: „Cette végétation révolutionnaire poussait

vigoureusement sur la couche de fumier arrosé de sang humain qui lui servait de base” [9, с. 357].

С другой стороны, в мемуарах отразился присущий эпохе романтический гамлетизм. Рефлектирующее сознание героя, мучительно пытающегося постичь смысл своего существования, приводит его к мыслям об абсурдности, неразрешимости „бытия-к-смерти”. Часто слово „смерть” соседствует или объединяется в сравнениях и метафорах с забвением („néant”), бездной („abîme”) и вечным безмолвием („silence éternel”). И закономерен мучительный вопрос: „Dans votre éternel silence, ô tombeaux, si vous êtes des tombeaux, n’entend-on qu’un rire moqueur et éternel?” [9, с. 612]. В „Записках”, уже на автобиографическом уровне, повторяется ситуация, описанная Шатобрианом в „Рене”, когда герой, остро воспринимающий конечность человеческой жизни, помещен в мир, где смерть вездесуща. Его рождение предваряет ряд смертей старших братьев и сестер, а о себе автор пишет, что он появился на свет „едва живым” [7, с. 30] („presque mort” [8, с. 188]), он также сообщает, когда впервые увидел покойника и какие чувства вызвало в герое-ребенке это зрелище [8, с. 243]. Последующие годы приносят новые смерти и хотя вполне естественно, что человек в возрасте 78 лет (а именно в 1846 году „Записки” были окончательно отредактированы автором) хранит память о многих потерях, все же то, с каким постоянством Шатобриан вновь и вновь вспоминает о гибели брата и его семьи под ножом гильотины, о казни короля, о смерти родителей и сестры Жюли, говорит не только об общем для всех французов печальном историческом опыте. Безусловно, эпоха, в которую живет Шатобриан, с ее революциями, войнами европейского масштаба, больше, чем какая бы то ни было до этого, изобилует смертями: неизвестными и получившими европейский резонанс (казнь Людовика XVI, герцога Энгиенского), но неизменность, с которой возвращается автор к этой теме, настойчивость, с которой он окружает героя мемуаров мертвецами и могилами, свидетельствуют о непреходящем личном интересе к этой проблеме, о важности ее для мировосприятия автора, все творчество которого ориентировано на борьбу со временем, на преодоление конечности индивидуального бытия. Называя „Замогильные записки” книгой записи умерших („un registre obituaire”), Шатобриан берет на себя функцию хранителя памяти об ушедших. Называя их имена, он будто бы совершает некий магический ритуал если не воскрешения, то сохранения, продления.

Реальная жизнь тоже становится поводом к меланхолическим размышлениям. И это не только величественные картины руин или увядания природы, традиционные источники меланхолии, но зачастую – похоронные процессии, вольным или невольным свидетелем которых часто становится Шатобриан. Во время первого посольства в Риме эта своеобразная эмоциональная встряска позволяла разогнать скуку повседневной жизни и настроить душу на возвышенный лад [7, с. 199]. С возрастом подобное зрелище

заставляет еще острее почувствовать бренность человека и его кратковечность, особенно если добычей смерти становится молодость. Он словно зачарован „меланхолическими мыслями, которые рождает зрелище красоты и юности, похищенных могилой” [7, с. 469]. Помимо этого герой мемуаров часто становится свидетелем похоронных шествий, а в каждом городе непременно посещает близлежащее кладбище.

Ощущением конечности человеческой жизни пронизаны все „Записки”. Жизнь, парадоксально определяемая как „беспрестанный мор” [7, с. 106] („une peste permanente” [8, с. 310], „вечная вырубка” [7, с. 370] („la coupe est éternelle” [10, с. 664]), фактически сливается со смертью, „без устали вершащей свою вечную Варфоломеевскую ночь” [7, с. 371] („la Sainte Barthelemy éternelle” [10, с. 705]). Возникает один из важнейших в художественной системе Шатобриана образов: „жизнь-смерть”, сопряженный с другими, не менее амбивалентными, как, например, „колыбель-могила”. Сама жизнь оказывается пропитанной смертью, но и смерть – жизнью (подтверждение тому – знаменитый образ ростка, пробивающего могильную плиту: „Un brin d’herbe perce souvent le marbre le plus dur de ces tombeaux, que tous ces morts ne soulèveront jamais!” [11, с. 39]).

В мемуарах картину напряженного противостояния, когда герой то и дело оказывается лицом к лицу со смертью, дополняет еще одна важная составляющая, которая для Рене, героя одноименного романа, не была столь существенной – это христианство с его учением о бессмертии души и загробной жизни. Как христианин, Шатобриан признает этот важнейший религиозный постулат, и это находит выражение не только на страницах „Замогильных записок”, но и ранее, в трактате „Гений христианства”, где писатель говорит о том, что „христианин всегда смотрит на себя лишь как на временного скитальца в этой юдоли слез, который найдет успокоение лишь в могиле. Земной мир не является предметом его желаний, ибо он знает, что скоро его утратит” [3, с. 400]. Построение фраз, лексика, близкие к библейским, свидетельствуют о сродстве авторской и христианской концепций соотношения жизни и смерти. В унисон с евангельскими звучат в „Записках” слова о необходимости и благотворности смерти: „...c’est par la mort qu’on arrive à la presence de Dieu” [8, с. 61]; „La mort est belle, elle est notre amie” [8, с. 100]; „...quelle bonté de Dieu que la mort!” [8, с. 600].

Но в контексте всего произведения даже эти недвусмысленные, на первый взгляд, свидетельства глубокой веры автора, его христианского смирения приобретают иное звучание, объясняя отчасти многочисленные обвинения в непочтительном отношении к религии и даже в ереси, высказываемые в адрес Шатобриана. Повод для недоверия возникает уже на первых страницах мемуаров, где речь идет о рождении героя. Дважды он подчеркивает свое нежелание появляться на свет: сначала прямо, когда говорит о рождении четырех старших сестер: „Я противился, жизнь не прельщала меня” [7, с. 30]

(„Je resistais, j'avais aversion pour la vie” [8, с. 187]), а затем косвенно, когда вместо нейтрального и общепринятого „ma mère m'a donné la vie” говорит „ma mère m'infligea la vie” [8, с. 188] („мать обрекла меня на жизнь” [7, с. 30]). Смиряться со смертью как христианин, уповающий на жизнь вечную, Шатобриан не приемлет ее на индивидуально-личностном уровне. Отсюда яростные попытки преодолеть время и отчаянное отрицание смерти вплоть до отрицания жизни: „самое большое несчастье после нашего собственного появления на свет – это дать жизнь другому человеческому существу” [7, с. 41] („Après le malheur de naître, je n'en connais pas de plus grand que celui de donner le jour à un homme” [8, с. 236]).

Таким образом, элементы трагизма в разработке темы старости и смерти обусловлены ее личностным восприятием. Этому способствует пространственно-временная организация повествования в мемуарах, когда сближение разных временных пластов позволяет острее ощутить разрушительную силу времени. Романтическое понимание специфики бытования человека во времени, которое проявляется в идее борьбы с ним, стремлении отвоевать свое „Я”, преобладает в „Замогильных записках” над барочной и сентименталистской трактовками образа времени.

Тема старости также приобретает новое звучание. В документальном повествовании, каковым являются мемуары, старость предстает как вполне реальная, глубоко личная проблема, трагически переживаемая автором, но изображаемая им с помощью художественных средств. В романтическом ключе переосмысливается и проблема смертности человека. Еще смягченная у Шатобриана декларативной идеей христианского смирения, она, тем не менее, предельно драматизируется, предвещая метафизический бунт романтиков против Бога, а, в сущности, против смерти, лишаящей человека всякого смысла существования и обрекающей его на вечные и недостижимые мечтания.

1. Демичев А.В. Дискурсы смерти: Введение в философскую танатологию / А.В. Демичев. – СПб. : ИНАПРЕСС, – 1997. – 144 с.
2. Деррида Ж. Письмо и различие [Электронный ресурс] / Ж. Деррида. – СПб. : Академический проект, 2000 – 432 с. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/derrpism/index.php.
3. Литературные манифесты западноевропейских романтиков под ред. А.С. Дмитриева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 639 с.
4. Пашкин А.Д. Философия текста. Русский Танатос. Проекция смерти в культуре и литературе [Электронный ресурс] // А.Д Пашкин // Топос. – 24 апреля 2002. – Режим доступа : <http://topos.ru/article/280>.
5. Фигуры Танатоса [Электронный ресурс] / Фигуры Танатоса. № 1-6 – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1991-2001. – Режим доступа : <http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/thanatos/index.html>.

6. *Шатобриан Ф.-Р. де*. Атала. Рене / Ф-Р де Шатобриан. – М. : Камея, 1992. – 96 с.
7. *Шатобриан Ф.-Р. де*. Замогильные записки / Ф-Р де Шатобриан. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1995. – 736 с.
8. *Chateaubriand F.-R. de*. Mémoires d'Outre-tombe : 3 v. / F.-R. de Chateaubriand. – Paris : Garnier – V. I. – 1989. – 800 p.
9. *Chateaubriand F.-R. de*. Mémoires d'Outre-tombe : 3 v. / F.-R. de Chateaubriand. – Paris : Garnier – V. II. – 1992 – 798 p.
10. *Chateaubriand F.-R. de*. Mémoires d'Outre-tombe : 3 v. / F.-R. de Chateaubriand. – Paris : Garnier – V. III. – 1998 – 671.
11. *Chateaubriand F.-R. de*. René / F.-R. de Chateaubriand. // Французская романтическая повесть. – М.: Прогресс, 1973. – С. 31-69.
12. *Lehtonen M*. L'expression imagée dans l'oeuvre de Chateaubriand / M. Lehtonen. – Helsinki : Société Néophilologique, 1964. – 288 p.

Аннотация

Анализируются структурно-семантические модели образов старости и смерти в мемуарах Ф.-Р. де Шатобриана. Показано своеобразие повествовательной реализации феномена смерти, этого „индикатора человеческой аутентичности” (А.В Демичев), в контексте рассказа об эпохе и о себе. Глубоко личная, трагически переживаемая автором проблема бренности индивидуального бытия представлена на фоне обширного исторического полотна и сопряжена с общеромантическим осмыслением специфики бытования человека во времени.

Ключевые слова: романтические мемуары, биографическое время, старость, смерть.

Summary

The article analyses the structural-semantic models of the old age and death images in Chateaubriand's memoirs. The specific character of the narrative realization of the death phenomenon, this „human authenticity's indicator” (A.V. Demichev,) is demonstrated in the context of the story about the epoch and oneself. The intimate problem of the perishable nature of individual being that the author is experiencing tragically is presented against the vast historical background and is joined with the general Romanticist comprehension of the specific nature of human existence in time.

Key words: Romanticist memoirs, biographical time, old age, death.

Стаття надійшла до редколегії 23.10.2009